

**ЗИНАИДА
ГИППИУС**

НИКОЛОВО
ПОЖАЛЕНИЕ

Зинаида Николаевна Гиппиус

Николово пожелание

Аннотация

«Таня теперь часто читала Варварушке вслух. Заберутся они с Костей в нянькину комнату (хорошая комната, отдельная, уютная, только электричества нет – лампада, да оно и лучше) – целый вечер, до самого чаю, просиживают...»

Зинаида Гиппиус

Николово пожаление

Таня теперь часто читала Варварушке вслух. Заберутся они с Костей в нянькину комнату (хорошая комната, отдельная, уютная, только электричества нет – лампада, да оно и лучше) – целый вечер, до самого чаю, просиживают.

Тане скоро восемь лет, Косте семь. К ним давно ходит русский учитель, учатся они очень хорошо и уже много знают. А чему не учит учитель, то они знают от няньки: Варварушка умная, она в России жила, к Троице-Сергию и даже к Тихону Задонскому пешком ходила. Папа и мама ее уважают, папу она вынянчила, как потом, в Париже, и Таню с Костей. Еще никогда не случилось, чтобы Варварушку диво какое-нибудь в тупик поставило. «Вот поехали мы с барыней покойной, и с Сережинькой, в заграницу, – рассказывала она. – Сережинька, папа-то ваш, по седьмому году тогда был. Задумчивый такой ребенок, а мамаша страх его баловала: одно мечтанье, как бы его чем позабавить. Вот приехали мы в город, – ничего себе, город как город, улицы, и все. Барыня и к Сережиньке: видишь? И ко мне: видишь, няня, хорошо ведь? Да чего плохого, люди как люди, на двух ногах. Ничего. И Сережинька не удивляется. Барыня говорит: а завтра я вас в такое диво свезу, что ахнете. Вот Сережа будет доволен! Ну хорошо. Назавтра поехали и видим как бы подземелье, комнаты

обыкновенные, только вроде пещер. За стенами рыбы плавают разных сортов. По комнатам и другие люди скромненько прохаживаются, либо тихо на лавочках сидят, – лавочки поставлены. Барыня хлопчет: видишь, Сережа? Няня, а это видишь? И показывает в уголок. Вижу, говорю; что ж лоханка, а в лоханке змей, довольно порядочный, и с зубами. А невдалеке вон кошка над картошкой старается, ишь как грызет. Барыня моя рассердилась: какая, мол, кошка, разве это кошка? Это обезьяна, и вовсе не картошку жует. А змея такого разве ты видела? Ты только Сереже всякое удовольствие отбиваешь! Расстроившись, села на лавочку и сквозь слезы: ты недоволен, Сережа? Ты недоволен? Ему, понятно, жаль, утешает: «Нет, мама, я доволен. Только я думал, музыка будет играть, а рыбы будут плясать». Как признался, – она пуще: «Значит ты недоволен?». А он за свое, что доволен, только ожидал, чего не нашел. Так мы без музыки и рыбьего пляса домой и пошли». Костя и Таня рассказ этот нянькин знали, и няньку знали. Еще никогда дети не слышали, чтоб она чему-нибудь подивилась; или что-нибудь охаяла. Все ей нипочем, все будто так и ждала она, не иначе. В лесу, где она всякий день бодро с детьми гуляла, прямая, в платочке, благообразная, ей все казалось обыкновенным и скорее нравилось: и французские приятели Тани и Кости, – «ничего, славные деточки!» и деревья, и башня из-за деревьев: «Ничего себе башня, словно Петр Великий!».

– А в России, няничка, все дети по-русски говорят? –

спрашивала Таня. – Вот ты рассказывала, что Летний сад и папа, маленький, с тобой гулял там, и другие дети? Так они все по-русски?

– Всяко, милая. И по-русски, а другие, с мамзелями, и по-иному тоже. Всякое бывает.

– А почему здесь святых нет?

– Что это, матушка, – нет! Должны быть. Святые по всей земле. Нянька знала и сказки, а больше любила про святых рассказывать.

У нее была толстая книга в зеленом переплете, и когда дети подросли, Таня полюбила, примостившись на скамеечке у нянькиного кресла, читать ей вслух эту книгу, – Жития святых. Самое интересное, что прочтут так про кого-нибудь, – а Варварушка вспомнит еще про другого, какого в книге нет, и рассказывает от себя.

Костя объявил раз, что сам будет святым, когда вырастет. Поедет в Россию и в землянку зароется, – спастись.

– Таких много, – одобрила Варварушка. – А пуще того – святые помощники. Вот Никола милостивый: где ни беда – он уж тут, сейчас пожалеет, поможет.

У няни, в углу, рядом с Казанской и Симеоном Верхотурским, сидел и Никола.

Книжку в зеленом переплете прочитали они уже не раз и не два. А нынче пришли дети к няньке, и Таня говорит: «Что у меня есть! Мне мама купила. Тут все про Николая Угодника. Как он по морям ездил и в беде добрым помогал.

Только про Россию мало».

И принялись читать Варварушке книгу Ремизова. Варварушка слушала с удовольствием. Подчас даже спицами двигать переставала и очки подымала на лоб. Косте тоже очень нравилось. Так все хорошо, справедливо. И не жалко гадких, если тонут, поделом им!

– А вот еще, что слышала я, от бабки от моей, – промолвила Варварушка, когда Таня кончила читать. – И не так, чтоб в очень давние времена оно было. Тоже Никола Угодника пожаление.

– А что, няничка, расскажи! Где было?

– Да в наших, будто, местах. Святые, они по всей земле ходят, не разбираются. Для всех они святые помощники. Вон ты читала, каким он, Никола, народам ни являлся, по каким морям ни ездил! И в нашей беде он первый наставник.

– Ну, няничка?

– А вот, слушайте. Жила одна госпожа в имении своем, и была она добрая и богобоязненная. Мужа своего любила, – душа в душу жили, – бедным помогала, и все, кто с ней ни знался, очень ее почитали. Только было у нее горе: детей Бог не давал. Стала она усердно молиться, на богомолье сколько раз ездила, на коленках ночи простаивала. Наконец того – радость: будет дитя! Мать думает: это Николай Угодник посылает; родится сын – назову его Николаем и Угоднику поручу. И что ж ты думаешь? Родился сын, в самый в Николин день, в Николу летнего, тут уж радости такие пошли, и ска-

зять нельзя. Не наглядятся на дитя, а дитя растет, и такое милое, тихое, нежное, и с личика красивое. Минуло ему шесть годков, либо семь, восьмой пошел, – вот как тебе, Костя, – и вдруг заболел, двух ночей не помучился, – и отдал Богу ангельскую душеньку.

– Ну, няня, – тихонько вздохнула Таня, – зачем же это?

– А вот, слушай. Скончался, ну его обмыли, одели, на стол в зале положили, к иконам, кисеёй накрыли, цветы кругом, – май месяц... Все по-хорошему. Только мать ни к чему не прикоснулась, глаза дикие, себя не помнит, дрожит, сама в отчаянии. Как это моленное дитя, Николаю Угоднику порученное, любовью моею взлелеянное, и вдруг у меня отнято? Чем я согрешила, чтоб такую муку принять? Да почему моя жизнь лучше от меня не взята?

Словом сказать – возропала она. И пуще того на Угодника. Я, мол, тебе поручила его, а ты не сохранил... Стоит вечером, поздно, в зале, одна, свечи горят, потрескивают, цветы пахнут, тихо в доме... А она все, руки сжавши, оторваться не может, и не плачет, а в отчаянии своем вопрошает: за что? за что? Ну, свечи тем временем, нагорели, или так, а стало ей видеться, будто у стола, где мальчик лежит, кто-то есть. Она вглядываться, – старичок худенький, и сейчас же обернулся, идет мелко переступает, и мимо нее прошел, – и нет его. Только когда мимо проходил – заметила она, что лик у него печальный и даже как бы суровый. Может, и подумалось ей, не Угодник ли, а может – не успела, потому как

веянье по комнате пошло, по свечам даже видно, а кисея на столе, которой мальчик покрыт был, зашевелилась. Мать кинулась, сорвала кисею – а он глазки открыл, смотрит.

– Воскрес! – вскрикнули оба, Костя и Таня, вместе. – Ах, няничка!

– Подождите, слушайте. Ну, она, конечно, схватила его на руки, в спальню пошла, смеется, плачет, – живой! Живой и есть. Мать, в радости, уж себя не помнит. Вздумала и о старичке, уж не вправду ли Угодник был, пожалел материнское сердце? Только время идет, да идет. Растет Николашенька, а мать на него не посмотрится, не надышется, чего сынок не пожелает – ни в чем отказу. Своевольничает – ну что ж, дитя! А какое уж дитя, выше матери головой. Нанимали учителей – не жили учителя: озорной стал. В город отправили учиться – и там, поучившись мало, накуролесил чего-то. Наконец, в Москву его снарядили, – нельзя же! Не знаю уж, сколько он там годов пробыл, а только годы те матери солонны достались; слухи о нем ходили нехорошие. И все денег требовал. То приедет, на день до вечера, выберет у матери, что есть, – и опять, ни на кого не взглянув, пропал; и лишь вскоре, опять письмом денег требует, Бог весть чем грозит. Мать жилы из себя тянула, именье заложили, разорились совсем. Отец умер, – сын и на похороны глаз не показал. Дошло, что отвечает мать: нету у меня, Николаша, ничего послать тебе, сама впроголодь сижусь. А он, через дня через два, сам заявляется. К вечеру уж, поздновато, да ночи не темные, май месяц

стоял. Ну, прямо к матери. И «здравствуй» не сказал; грубо так: давай чего есть, чего нет, скряга старая! Давай добром, что припрятала, хуже будет! А сам страшный, глаза кровью налиты, вином от него как из бочки... Мать встала, глядит: «Да нету у меня ничего, Николаша, вот Бог свидетель...». Глядит – и к двери открытой, на террасу, в сад, понемножку пятится: страшно ей. Он будто по комнате пройти – в угол отошел. А там сразу обернулся, кошкой присел: «Не-ету? Не даешь добром? Не даешь? Убью!».

Прыгнул на нее, а в руке нож. Под самым ножом выпоркнула она на террасу, да с лестницы кубарем, да по темной аллее бежит, бежит, ног не чуя, и слышит, как тот за ней топчет, настигает совсем... И вдруг натолкнулась она в аллее на кого-то встречного, набежала на него прямо. «Постой, слышь, постой!» и сама не зная как – остановилась. Ночь не темная, и видит – давнишний старичок худенький перед ней, а лицо не суровое, доброе, жалостливое. И уже не сомневается, что это Угодник. Заплакала горько, не рассказывает, что сын на мать с ножом кинулся, – Угодник сам знает. Только слезы льет, ту ночь вспоминает, как роптала, Угодника корила, что не сохранил порученное ему дитя. И уж понятно ей, от какой судьбы хранил он душу дитяти, да и ее, материнскую душу. А старичок в ней как в книжке открытой читает. «Иди, – говорит, – раба Божия, мир тебе». И благословил.

Как благословил – так все и пропало. Открыла она глаза – видит себя на полу, свечи горят, оплывают, цветочками пах-

нет, на столе младенец под кисеей. И кисея лежит, как лежала, не шевелится...

– Не воскрес? – задыхающимся шепотом промолвил Костя. – Не воскрес?

– Она же, мать, – продолжала Варварушка мерным голосом, – слезами новыми облилась, как поняла Николово это сожаление; пожалел он младенца, ему порученного, и мать пожалел...

– Не воскрес, не воскрес! – заревел вдруг Костя в голос. – А я думал... А он...

Таня всполошилась.

– Ты глупый, не смей реветь! Ты не понимаешь, так ему лучше! А так было бы хуже! Это хорошо, что не воскрес, ему было предопределение...

Она, впрочем, и сама плакала, моргая часто-часто. Ей тоже хотелось, чтоб мальчик не умер, чтоб Никола иначе как-нибудь пожалел и его, и мать, и чтоб предопределения не было.

Всхлипнула и спросила:

– А зачем оно, няня, предопределение?

– Коли вы такие глупые, не буду вам больше рассказывать, – промолвила Варварушка, впрочем, не сердясь. – А без предопределения нельзя.